

Николай Алексеевич Некрасов

Редко кто из выдающихся писателей возбуждал при жизни и после смерти столько разноречивых оценок, как Н. А. Некрасов. Рядом с восторженным изображением его, как "печальника горя народного", существуют отзывы о нем, как о тенденциозном стихотворце, в произведениях которого "поэзия и не ночевала", как о лицемере, негодующее слово которого шло вразрез с черствостью его сердца и своекорыстием. Здесь не место разбирать его произведения и доказывать при этом, как односторонни, пристрастны и несправедливы такие взгляды на его творчество и личность. Достаточно указать на задачу, поставленную им всякому общественному деятелю своим заветом: "Иди к униженным, иди к обиженным - там нужен ты", которому он и сам следовал, будя в читателе негодование на мрачные и жестокие стороны крепостного права, рекрутчины и бюрократического бездушия. Он знакомил так называемое "общество" и городскую молодежь с русским сельским бытом и, хотя и разными с Тургеневым приемами, вызывал в ней сочувствие к простому русскому человеку и веру в жизненность его духовных сил. Нужно ли говорить о красоте, сжатости и выразительности его языка, о богатстве глубоких по содержанию прилагательных, рисующих целые картины, об искусных звукоподражаниях, о ярких образах, щедрою рукою рассыпанных в его произведениях? Можно ли забыть о тяжелых впечатлениях его детства, протекшего "среди буйных дикарей", под звон цепей каторжников, проходивших "по Владимирке", и унылое пение бурлаков на Волге, и в частых горьких слезах, разделяемых им со страдальницей матерью, воспетой им с такой захватывающей скорбью?

Все это не входит, однако, в задачу настоящего очерка: хочется поделиться с читателями простыми личными воспоминаниями, касающимися Некрасова.

Еще в раннем детстве, когда ни о каком знакомстве моем с поэзией Некрасова не могло быть и речи, да она и не успела еще развернуться во всю свою ширь, я уже интересовался им по рассказам своего отца, издателя-редактора "Литературной газеты" в 1840--1841 годах и "Пантеона и репертуара" с 1843 почти вплоть по 1851 год, когда последний журнал был переименован в "Пантеон" и очень расширил свою литературно-художественную программу. Время издания "Литературной газеты" совпало с годами тяжелых испытаний и крайних лишений в жизни Некрасова. Ему приходилось очень бедствовать, подчас подолгу голодать и на себе испытывать ту нищету, бесприютность и неуверенность в завтрашнем дне, которые отразились на содержании многих его стихотворений. Он, очевидно, знал по личному опыту, как тяжело проживание в петербургских углах, описанных им в одном из сборников, им изданных. Существовать приходилось изо дня в день составлением книжек для мелких издателей-торгашей и торопливым писанием на заказанные темы о чем придется и как придется. В этот период его жизни с ним познакомился редактор "Литературной газеты" и предложил ему в своем издании хороший по тогдашним временам заработок, ценя молодого писателя, давая ему иногда по целым неделям приют у себя и оберегая его от возвращения к привычкам бродячей и бездомной жизни.

В письме из Ярославля от 16 августа 1841 г., по поводу какого-то недоразумения, вызванного сплетнями одного из "добрых приятелей" Некрасова, он писал моему отцу: "Неужели Вы почитаете меня до такой степени испорченным и низким... Я помню, что был я назад два года, как я жил... я понимаю теперь, мог ли бы я выкарабкаться из сору и грязи без помощи вашей. ... Я не стыжусь признаться, что всем обязан Вам: иначе бы я не написал этих строк, которые навсегда могли бы остаться для меня уликою". Большая часть работ Некрасова в "Литературной газете" была подписана псевдонимом "Перепельский". Себя и редактора он изобразил в "Водевильных сценах из журнальной жизни" под именем Пельского и Семячко и вложил в уста последнего следующее *profession de foi* {"Символ веры" (*букв.*), изложение своих убеждений (*фр.*)} по поводу приемов тогдашней газетной травли, руководимой знаменитым в своем роде Булгариным: "Я литератор, а не торговка с рынка. Я... не намерен... пятнадцать страниц моей газеты тою ржавчиною литературы, которую желал бы смыть кровью и слезами". Когда Некрасов вышел на широкую литературную дорогу, его добрые отношения с моим отцом продолжались, хотя видались они довольно редко.

В первый раз мне пришлось его увидеть в конце пятидесятых годов на Невском, при встрече его с моим отцом. Я жадно всматривался в его желтоватое лицо и усталые глаза и вслушивался в его глухой голос: в это время имя его говорило мне уже очень многое. В короткой беседе разговор - почему уже, не помню - коснулся исторических исследований об Иване Грозном и о его царствовании, как благодарном драматическом материале. "Эх, отец! - сказал Некрасов (он любил употреблять это слово в обращении к собеседникам),-- ну, чего искать так далеко, да и чего это всем дался этот Иван Грозный! Еще и был ли Иван-то Грозный?.." - окончил он, смеясь.

Осенью 1861 года я был на литературном вечере в память только что схищенного Добролюбова. Некрасов читал трогательные стихотворения покойного, еще не появившиеся в печати. Его глухой голос как нельзя более соответствовал скорбному тону того, что он выбрал для чтения: "Пускай умру - печали мало, одно страшит мой ум большой, чтобы и смерть не разыграла - обидной шутки надо мной",-- говорил он, и казалось, что это - замогильный голос самого Добролюбова. Впечатление было сильное. Мне пришлось опять слышать чтение Некрасова десять лет спустя, на вечере, устроенном М. Е. Ковалевским у себя, в пользу колонии для малолетних преступников. Тогда готовились к печати "Русские женщины", и этим произведением, отдельные места которого глубоко трогательны, поделился со слушателями Некрасов. Аудитория была изысканная в смысле умственного развития, и мне показалось, что он, всегда спокойный и сдержанный, читая, волновался и по временам в его голосе слышались слезы. Другие подтвердили мое замечание. Очевидно было, что он, которого так часто упрекали в неискренности, прочувствовал и переживал душевно за княгиню Волконскую, и в особенности за Трубецкую, те нравственные страдания их, которые были им воспеты с такой силой и вместе простотой.

С начала 1872 года я стал довольно часто встречать Некрасова в доме его большого приятеля, Александра Николаевича Еракова (ему посвящено Некрасовым большое стихотворение "Недавнее время"), воспитанием дочерей которого руководила сестра Некрасова, Анна Алексеевна Буткевич. Ераков был живой, образованный, чрезвычайно добрый и увлекающийся человек, обладавший тонким художественным вкусом. В его гостеприимном доме любимыми посетителями были: Салтыков, Алексей Михайлович Унковский, Плещеев и Некрасов. Последний часто навещал сестру и приносил ей свои только что написанные стихотворения. Благодаря этому и моему близкому знакомству с семейством Ераковых, я читал почти все произведения Некрасова, появившиеся после 1871 года, еще в рукописи и иногда в первоначальном их виде. Некрасов очень любил сестру и относился к ней с большим вниманием и участием. В ее строгом лице, со следами замечательной красоты, были черты сходства с братом. Она, по-видимому, не прошла, однако, подобно ему, годов лишений и нравственных уколов, испытываемых человеком, стоящим на границе, за которую начинается уже несомненная и неотвратимая нищета, грозящая бесповоротно увлечь "на дно". Поэтому "борьба за существование" меньше отразилась на ней, на ее статной и изящной фигуре, на цвете ее лица. Некрасов приезжал к Ераковым в карете или коляске, в дорогой шубе, и подчас широко, как бы не считая, тратил деньги, но в его глазах, на его нездорового цвета лице, во всей его повадке виднелось не временное, преходящее утомление, а застарелая жизненная усталость и, если можно так выразиться, *надорванность* его молодости. Недаром говорил он про себя: "Праздник жизни - молодости годы - я убил под тяжестью труда..."

Мы возвращались как-то, летом 1873 года, вдвоем из Ораниенбаума, где обедали на даче у Еракова. На мой вопрос, отчего он не продолжает "Кому на Руси жить хорошо", он ответил мне, что, по плану своего произведения, дошел до того места, где хотел бы поместить наиболее яркие картины из времен крепостного права, но что ему нужен фактический материал, который собирать некогда, да и трудно, так как у нас даже и недавним прошлым никто не интересуется. "Постоянно будить надо,-- без этого русский человек способен позабыть и то, как его зовут",-- прибавил он. "Так вы бы и разбудили, кликнув клич между знакомыми о доставлении вам таких материалов,-- сказал я. - Вот, например, хотя я и мало знаком с жизнью народа при крепостных отношениях, а, думается мне, мог бы рассказать вам случай, о котором слышал от достоверных людей..."

- А как вы познакомились с русской деревней и что знаете о крепостном праве? - спросил меня Некрасов.

Я рассказал ему, что в отрочестве мне пришлось провести два лета вместе с моими родителями в Звенигородском уезде Московской губернии и в Вельском уезде Смоленской. В последнем я видел несколько безобразных проявлений крепостного права со стороны семьи одного помещика, не чуждого, в свое время, литературе. Гораздо ближе познакомился я с русским сельским бытом, когда, будучи московским студентом, жил летом 1863 года "на кондициях" в Пронском уезде Рязанской губернии, в усадьбе Панькино, в семействе бывшего профессора А. Н. Драшусова, младшего сына которого готовил к поступлению в гимназию и дочери которого давал впоследствии в Москве уроки. Почти все время, свободное от уроков и от беседы с хозяйкой дома - умной и очень образованной женщиной, бывшей в переписке со многими выдающимися людьми Западной Европы, я проводил на селе, живо интересуясь только что совершившимся переломом в крестьянском быту под влиянием великой реформы 19 февраля и внимательно прислушиваясь к постепенно умолкшим отголоскам недавних крепостных отношений. С чувством теплого уважения вспоминаю я прекрасную личность мирового посредника первого призыва, отставного майора Федюкина, одного из тех благороднейших деятелей, которые внезапно появились в России под благовест освобождения и нередко беспощадно к себе и бескорыстно вложили всю душу свою в новое дело. И, как контраст ему, рисуется в моих воспоминаниях местная молодая титулованная помещица, вечно воевавшая с ненавистным ей Федюкиным, со злобной настойчивостью преследовавшая своих крепостных за каждую охапку хвороста, собранную в ее лесу, и за каждый, как выражался мировой посредник, "намек на потраву". Она привозила по временам в Панькино откуда-то добываемый ею герценовский "Колокол" и с ликованием читала в нем резкие и язвительные выходки против императора Александра II. Когда однажды я заметил ей крайнее несоответствие ее домашнего образа действий и негодования на Федюкина, часто становившегося на сторону крестьян,-- с восхищением перед упомянутыми выходками, она пожала плечами с выражением презрительного сожаления о моем умственном неразвитии и решительно отрезала мне: "Никакого несоответствия нет, и удивляться нечему! Мне нравится, когда его ругают, поделом ему! Зачем он освободил крестьян и позволил разным Федюкиным помогать нас грабить!.."

Я бывал в заседаниях волостного суда и на сельских сходах, бродил подолгу с крестьянином-охотником Данилой и просиживал с ним до рассвета в лесу, "подвывая" волков, на что он был большой мастер, и вел долгие беседы со сторожем волостного правления, прозвище которого, к сожалению, теперь не помню. Его звали Николай Васильевич. Это был высокий старик с шапкою седых волос и подслеповатыми глазами, ездивший в Москве в извозчиках еще до того, как туда "приходил француз". Большой любитель моих папирос, словоохотливый старик подолгу рассказывал мне о прошлом, вплетая в свои рассказы, без всякой предвзятой мысли, яркие картины из крепостной эпохи. Он не видел во мне "барина" и относился поэтому ко мне с полным доверием, которое поколебалось лишь однажды. "Тебе какое же, родимый, положение идет за то, что ты учишь барчука?" - полюбопытствовал он узнать. "Двадцать рублей". - "В год?" - "Нет, в месяц". - "Ой ли?! Да за что же это так много?" - "Как за что? Занимаюсь с ним, готовлю в гимназию. Вот скоро ему будет в Москве экзамен". - "Ну, а ешь-то ты что? То же, что господа?" - "Конечно! Что же мне другое есть, когда я с ними и обедаю и ужинаю". - "С ними?!" - сказал он недоверчиво и потом решительно прибавил: "Врешь ты, родимый!.." Из его слов я увидел, как иногда в прежнее время - но, конечно, не в семье Драшусовых - смотрели на учителя.

"А где ж ты там, парень, живешь? - спросил он меня в другой раз. - В господском доме?" - "Нет, я живу отдельно, на дворе, в комнате при старой бане. Мне там очень хорошо: тихо, просторно и никто не мешает. Я там и уроки даю". - "В бане? - задумчиво сказал старик. - И тебе не боязно? Она-то по ночам не ходит? Не пугает тебя?" - "Кто она? Какая она?" - "Да ведь тут у нас в старые годы, давно уж тому, помещица была, лихая такая: девкам дворовым от нее житья не было. Очень уж она на одну серчала. Косу ей обрезать велела и другое разное такое - совсем со свету сживала. Та возьми да с горя и удавись. Суд приехал. В бане ее и "коронили" - значит, потрошили. А к чему это - неизвестно. А потом схоронили за оградой, потому что руки на себя наложила. После нее сундучок с вещами остался, а она была сирота. Так сундучок-то поставили на чердак в бане. Вот у нас на селе и бают, что она по ночам ходит сундук свой смотреть. Ну, как же не боязно?!" Выслушав это, я понял, почему прислуга, когда я вечером желал остаться у себя (я готовился к отложенному на осень экзамену у Бабста из политической экономии и статистики и внимательно изучал Рошера), принося мне чай или молоко, ставила их на крыльчке и, постучав в окно, быстро удалялась, несмотря на то, что днем

любила заходить ко мне и побеседовать с *учителем*. Вернувшись к себе, я пошел на чердак и в углу его действительно увидел покрытый пылью старый небольшой сундучок, перевязанный веревкой и запечатанный печатью пронского земского суда. Нужно ли говорить, что в первую же затем ночь мое нервно настроенное воображение заставило меня услышать чьи-то шаги на чердаке? Но затем молодость взяла свое, и несчастная самоубийца уже не тревожила мой крепкий сон. В другой раз тот же старик рассказал мне с большими подробностями историю другого местного помещика, который зверски обращался со своими крепостными, находя усердного исполнителя своих велений в своем любимом кучере - человеке жестоком и беспощадном. У помещика, ведшего весьма разгульную жизнь, отнялись ноги, и силач-кучер на руках вносил его в коляску и вынимал из нее. У сельского Малюты Скуратова был, однако, сын, на котором отец сосредоточил всю нежность и сострадание, не находимые им в себе для других. Этот сын задумал жениться и пришел вместе с предполагаемой невестой просить разрешения на брак. Но последняя, к несчастью, так приглянулась помещику, что тот согласия не дал. Молодой парень затосковал и однажды, встретив помещика, упал ему в ноги с мольбой, но, увидя его непреклонность, поднялся на ноги с угрозами. Тогда он был сдан не в зачет в солдаты, и никакие просьбы отца о пощаде не помогли. Последний запил, но недели через две снова оказался на своем посту, *прощенный* барин, который слишком нуждался в его непосредственных услугах. Вскоре затем барин поехал куда-то к соседям со своим Малютою Скуратовым на козлах. Почти от самого Панькина начинался глубокий и широкий овраг, поросший по краям и на дне густым лесом, между которым вилась заброшенная дорога. На эту дорогу, в овраг, называвшийся Чёртово городище, внезапно свернул кучер, не обративший никакого внимания на возражения и окрики сидевшего в коляске барина. Проехав с полверсты, он остановил лошадей в особенно глухом месте оврага, молча, с угрюмым видом,-- как рассказывал в первые минуты после пережитого барин,-- отпряг их и отогнал ударом кнута, а затем взял в руки вожжи. Почуввав неминуемую расправу, барин, в страхе, смешивая просьбы с обещаниями, стал умолять пощадить ему жизнь. "Нет! - отвечал ему кучер,-- не бойся, сударь, я не стану тебя убивать, не возьму такого греха на душу, а только так ты нам солон пришелся, так тяжело с тобой жить стало, что вот я, старый человек, а через тебя душу свою погублю..." И возле самой коляски, на глазах у беспомощного и бесплодно кричащего в ужасе барина, он влез на дерево и повесился на вожжах.

Выслушав мой рассказ, Некрасов задумался, и мы доехали до Петербурга молча. Он предложил мне довести меня в своей карете на Фурштадтскую, где я жил, и, когда мы расставались, сказал мне: "Я этим рассказом воспользуюсь",-- а через год прислал мне корректурный лист, на котором было набрано: "О Якове верном - холопе примерном", прося сообщить, "так ли?". Я ответил ему, что некоторые маленькие варианты нисколько не изменяют существа дела, и через месяц получил от него отдельный оттиск той части "Кому на Руси жить хорошо", в которой изображена эта пронская история в потрясающих стихах.

Мне пришлось несколько раз посетить Некрасова в доме Краевского на Литейной и раза два у него обедать в обществе сотрудников "Отечественных записок", где всех оживлял своими веселыми и образными рассказами покойный "друг писателей" Михаил Александрович Языков. Юмор и подвижность его были особенно ценны ввиду его весьма преклонного возраста, а память его просто поражала способностью хранить в себе многое из давно-давно прошедшего. Иногда на вопрос удивленного собеседника: "А сколько вам, Михаил Александрович, лет?" - он, с комической важностью, горделиво отвечал, пародируя знаменитые слова Людовика XIV: "L'état c'est moi!" {Буквально: "Государство - это я" (*фр.*). Здесь игра слов: L'état (государство) произносится как русское "лета"}. За этими обедами мне пришлось слышать весьма интересные рассказы хозяина о литературных нравах конца сороковых и первой половины пятидесятых годов и о тех невероятных, но вместе с тем достоверных, издевательствах цензуры над здравым смыслом и трудом писателя в те времена, когда "жизнь была так коротка для песен этой лиры,-- от типографского станка до цензорской квартиры!" и когда поэт отвечал типографскому рассыльному Минаю, приносившему корректуру, испещренную красными крестами, и говорившему: "Сойдет-де и так",-- "Это кровь... проливается! Кровь моя,-- ты дурак!.."

Тогда же я познакомился с будущей женою Некрасова, Феклой Анисимовной, которую он называл более благозвучным уменьшительным именем Зины и к которой обращены многие его предсмертные стихи, полные страдальческих стонов и нежности. От нее веяло душевной

добротой и глубокой привязанностью к Некрасову. За обедом, где из женщин присутствовала она одна, Некрасов, передававший какое-нибудь охотничье приключение или эпизод из деревенской жизни, прерывал свой рассказ и говорил ей ласково: "Зина, выйди, пожалуйста, я должен скверное слово сказать",-- и она, мягко улыбнувшись, уходила на несколько минут. Однажды, сообщая мне о том, что он начал ездить, в сопровождении Зины, в водолечебницу доктора Крейзера в Адмиралтействе, он сказал: "После моей водяной операции мы обыкновенно сидим некоторое время на Адмиралтейском бульваре. Это совпадает с временем обычной прогулки государя по набережной Невы, причем, незаметно для него, ему предшествуют и его сопровождают агенты тайной полиции, проживающие в здании Адмиралтейства. Мы уже привыкли их видеть выходящими на службу. Однажды один из них вышел в сопровождении жены с ребенком на руках и, помолвившись на собор Исаакия, нежно поцеловал жену и перекрестил ребенка. Это очень растрогало Зину. "Ведь вот,-- сказала она,-- шпионина, а душу в себе имеет человечью!" Вдова Некрасова после его смерти жила в уединении, в самой скромной обстановке в Саратове, в последнее время нуждаясь и стойко замыкаясь в себе против назойливых покушений разных репортеров. Она умерла в 1914 году, свято чтя память своего мужа.

Иногда Некрасов обращался ко мне с просьбой о совете по тому или другому литературному делу, которое, в дальнейшем своем развитии, могло грозить осуществлением в реальной действительности того, что с таким юмором изобразил он в своем остроумном стихотворении "Суд". У меня сохранилось его письмо от 3 апреля 1873 г. "Разрешите, пожалуйста,-- писал он,-- *должны ли мы* напечатать прилагаемое объяснение судьи Загибалова? И может ли выйти что-либо неприятное для редактора (в случае, если б мир[овой] судья, не видя объяснения напечатанным, принес жалобу) или нет? ... Надо заметить, что судья этот, должно быть, скотина старых приказных времен, ибо наполнил свою заметку кляузными и бранью, которые я откинул. ... Ответ ваш необходим *сегодня*. ... Очень обяжете. ... Искренно преданный Вам Н. Некрасов".

У Некрасова было много врагов, и на его счет распространялись самые злоречивые слухи, сосредоточиваясь главным образом на его крупных выигрышах в карты в Английском клубе. Порожденные этими слухами легенды живут, к сожалению, и по настоящее время в обществе. "Calomniez, calomniez - il en restera toujours quelque chose!" {"Клеветайте, клеветайте - что-нибудь да останется!" (фр.).} По этому поводу мне пришлось однажды иметь большую беседу с самим Некрасовым.

В 1874 году сильное впечатление в Петербурге произвело возбуждение мною, по должности прокурора, дела о штабс-ротмистре Колеmine, содержавшем игорный дом и завлекавшем к себе роскошным угощением обыгрываемую им молодежь, причем выигрышу велась правильная бухгалтерская запись. Ввиду полной изобличенности Колемина, я предложил судебному следователю наложить на основании 512-й статьи XIV тома арест на деньги Колемина, хранившиеся на текущем счету в Волжско-Камском банке в сумме 49500 рублей и представлявшие, согласно составленным Колеминым записям, чистый его выигрыш. Арест был наложен, и суд утвердил эту меру. Кто-то, по невежеству юридическому, а может быть, с дурным и злорадным умыслом, уверил Некрасова, будто бы достоверно известно, что я намерен возбудить дела о всех лицах, выигравших крупные суммы в общественных собраниях и клубах, и предложить суду отобрать у них эти деньги для обращения их в пользу колонии и приюта для малолетних преступников в окрестностях Петербурга. Встревоженный Некрасов, сознававший, что такая мера могла бы губительно отразиться на средствах для издания "Отечественных записок", как-то рано утром пришел ко мне и просил откровенно сказать, грозит ли ему такая опасность. Я, конечно, его разуверил и постарался рассеять его опасения, объяснив всю нелепость дошедшего до него слуха. При этом я подробно рассказал ему про поводы к возбуждению дела о Колеmine и выяснил ему *что именно* понимает закон под словами "устройство игорного дома" и как он исторически сложился. Некрасов успокоился и, долго просидев у меня, подробно рассказал мне, как образовались его значительные средства, возбуждавшие в столь многих ожесточенную зависть. В своем повествовании, довольно беспощадном к самому себе, он раскрыл предо мною болезненную психологию человека, одержимого страстью к игре, непреодолимо влекущую его на эту рискованную борьбу между счастьем и опытом, увлечением и выдержкой, запальчивостью и хладнокровием, где

главную роль играет не выигрыш, не приобретение, а своеобразное сознание своего превосходства и упоение победы...

Рассказы о "нечистой игре" Некрасова были несомненной клеветой,-- такую же, как стремление представить его бессердечным эгоистом и человеком, двулично драпирующимся в тогу друга народа и служителя "музы мести и печали", в то время, когда до народных скорбей ему в сущности нет никакого дела, и он, широко тратя легко достающиеся деньги на себя, остается глух и слеп к чужому горю и несчастью. Из рассказов ряда писателей, а также его сестры, женщины правдивой до суровости, мне были известны нередкие случаи проявления им доброты и даже великодушной незлобивости по отношению к чуждым ему людям. Его прекрасные, внимательные и участливые отношения к сотрудникам, его отзывчивая готовность "подвязывать крылья" начинающим даровитым людям и его трогательная нежность к сестре служат лучшим опровержением шипенья злобы, которая и при жизни его и по смерти прикрывалась услужливыми словами "говорят, что...". "Несть человек, аще поживет и не согрешит. Ты един кроме греха..." - говорится в чудном ритуале нашей панихиды. Не "прегрешения" важны в оценке нравственного образа человека, а то, был ли он способен сознавать их и глубоко в них каяться. Стоит вспомнить вырывавшиеся из глубины души Некрасова, орошенные внутренними слезами, крики, которыми он оплакивал случаи своего кратковременного падения или минутного малодушия, когда ему приходилось сознавать, что "погрузился... в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей" и что "ликует враг, молчит в недоумении вчерашний друг, качая головой..." - стоит их вспомнить, чтобы видеть, что он был человеком искренним.

Последние скорбные стихи были отголоском глубоко уязвивших Некрасова нареканий по поводу его стихотворного приветствия графу Муравьеву-Виленскому, диктаторская власть которого грозила в 1866 году прекращением наиболее выдающихся журналов. Слишком доверчиво полагаясь на умягчающее влияние своего поступка на сурового "усмирителя", Некрасов жестоко ошибся. "Современник", коего он был редактором, и "Русское слово" окончили свое существование, но несомненно, что он не преследовал никаких личных целей, а рисковал своей репутацией, чтобы спасти передовые органы общественной мысли от гибели.

Тот, кто наблюдал жизнь, кому приходилось иметь дело с живыми людьми, должен, мне кажется, признать, что существует большая разница между человеком дурным и человеком, впадшим в порочную слабость или увлеченным страстью. Нередко под оболочкой почти безупречной "умеренности и аккуратности", дающей повод к лицемерному самолюбованию, таится несомненно дурной человек и, наоборот, иной игрок, пьяница или "явный прелюбодей", которого наши старые судопроизводственные законы не допускали даже до свидетельства на суде, вне пределов своей порочной склонности бывают людьми великодушными, благородными и добрыми, в особенности добрыми. Недаром Достоевскому приписываются слова, что у нас добрые люди обыкновенно пьяные люди и пьяные люди почти всегда добрые люди... Литературные и нравственные заслуги Некрасова пред русским обществом так велики, что пред ними должны совершенно меркнуть его недостатки, даже если бы они и были точно доказаны. Это прекрасно выразил покойный Боровиковский в стихах "Его судьям", в которых, обращаясь к непреклонному моралисту, сующему "с миной величавой, его ошибок скорбный лист", он говорит: "Ты сосчитал на солнце пятна и проглядел его лучи!..."

Во время долгой и тяжелой предсмертной болезни Некрасова я был у него несколько раз и каждый раз с трудом скрывал свое волнение при виде того беспощадного разрушения, которое совершал с ним недуг. Последнее время он мог лежать только ничком, в очень неудобной позе, под одной простыней, которая ясно обрисовывала его страшно исхудалое тело. Голос был слаб, дрожащая рука - холодна, но глаза были живы, и в них светилось все, что оставалось от жизни, истерзанной страданием. В последний раз, когда я его видел, он попенял мне, что я редко к нему захожу. Я отчасти заслужил этот упрек, но я знал от его сестры, что посещения его утомляют, и притом был в это время очень занят, иногда не имея возможности дня по три подряд выйти из дому. На мои извинения он ответил, говоря с трудом и тяжело переводя дыхание: "Да что вы, отец! Я ведь это так говорю, я ведь и сам знаю, что вы очень заняты, да и всем живущим в Петербурге всегда бывает *некогда*. Да, это здесь роковое слово. Я прожил в Петербурге почти сорок лет и убедился, что это слово - одно из самых ужасных. Петербург - это машина для самой бесплодной работы, требующая самых больших -

и тоже бесплодных - жертв. Он похож на чудовище, пожирающее лучших из своих детей. И мы живем в нем и умираем, не живя. Вот я умираю - а, оглядываясь назад, нахожу, что нам *всё и всегда было некогда*. Некогда думать, некогда чувствовать, некогда любить, некогда жить душою и для души, некогда думать не только о счастье, но даже об отдыхе, и только *умирать есть время...*"

Хотя и давножданная, вследствие сообщений газет о трудной операции, произведенной Бильротом, и о тяжких страданиях, смерть Некрасова произвела в Петербурге, да и во многих местах России, сильное впечатление, заставила восторгнуться во многих любовь к угасшему и вызвала неподдельное чувство боли, заставив на время смолкнуть наветы недругов и злобные шуточки лицемерных друзей. Это настроение нашло себе яркое выражение в прекрасных стихах того же Боровиковского, написанных накануне похорон и начинавшихся словами:

Смолкли поэта уста благородные...

Самые похороны были очень многолюдны и, сколько помнится,-- были вторыми неофициальными похоронами в Петербурге, в которых - после торжественных похорон знаменитого артиста Мартынова 13 сентября 1860 г. - приняли участие с горячим порывом самые разнообразные круги общества. Обстановка этих похорон и характер участия в них молодого поколения указывали, что ими выражается не только сочувствие к памяти покойного, но и подчеркивается живое активное восприятие основного мотива его поэзии. Надо, впрочем, заметить, что по торжественности и внешнему, свободно установленному, порядку эти похороны значительно уступали тому, что пришлось впоследствии видеть при похоронах Достоевского и отчасти Тургенева. Мне вспоминается вечер 30 декабря 1877 г.,-- день похорон Некрасова,-- проведенный в доме редактора "Вестника Европы". Все были полны одним чувством, но с особой силой оно сказывалось у Кавелина - большого поклонника покойного поэта, любившего его "за каплю крови, общую с народом".

Русский человек до мозга костей, знаток быта и глубокий исследователь явлений истории своего народа, Кавелин нежно и беззаветно любил этот народ. Он светло смотрел вперед, не смущаясь за будущую роль своего отечества. Ему нравилось, когда его называли в этом отношении оптимистом. "Да, я оптимист,-- говаривал он с тихою и уверенною радостью во взоре,-- я верю, что какие бы уродливые и болезненные явления ни представляло русское общество, простой русский человек поймет свои задачи, разовьет свои богатые духовные силы и вынесет на своих плечах Россию". Он не отрицал темных и грубых сторон нашего сельского быта, на котором, как на устоях, должна, по его мнению, стоять Россия,-- но он восставал против поспешных и мрачных обобщений. "Эти недостатки - недостатки молодости, не перебродившего переходного положения, наносная и поверхностная плесень",-- говаривал он... "Сердцевина здорова, и ее живительные соки залечат больные места в коре; пусть только дадут им выход, не мудрствуя лукаво, не навязывая народу чуждых ему учреждений и не заключая его в бюрократические тиски... Надо верить в русский народ, надо его любить,-- без этого жить нельзя!" Он часто доказывал, что о народе следует судить не по его нравам и привычкам, а по его идеалам,-- и с удовольствием повторял процитированное пред ним однажды изречение Монтескье: "Le peuple est honnête dans ses goûts, sans l'être dans ses mœurs..." {"Народ честен в своих стремлениях, но не в своих нравах..." (фр.)}.

Всякий истинный слуга народа был ему дорог. Понятно, как ему, с этой точки зрения, был близок усопший поэт. Он умел так настроить и направить довольно многочисленный кружок, что весь вечер был всецело посвящен памяти усопшего. В растроганном настроении внимали все Кавелину, читавшему слегка дрожащим голосом и с влажными глазами "Тихину" и "Несчастных", в которых с такой силой и красотой вылилась любовь Некрасова к родине и к русскому человеку.

Первым пунктом завещания Некрасова, составленного в январе 1877 года и утвержденного Петербургским окружным судом 20 января 1878 г., в бытность мою председателем этого суда, все авторские права, рукописи и частные письма к нему разных лиц завещаны в собственность Анне Алексеевне Буткевич, а имение близ села Чудово при усадьбе "Лука" оставлено в собственность жене с тем, чтобы она выделила из него половину

незастроенной земли брату завещателя, Константину. Анна Алексеевна купила у вдовы брата доставшуюся ей усадьбу с землей. В этой усадьбе проводил покойный часто подолгу время в последние десять лет своей жизни, охотясь и работая; здесь, между прочим, написал он значительную часть своей поэмы "Кому на Руси жить хорошо". Анна Алексеевна относилась с благоговением к памяти брата и издала его стихотворения в 1879 году в четырех томах, в подготовку которых к печати вложила много любви и личного труда. В 1881 году она повторила издание в одном большом и компактном томе. Она умерла в 1882 году, и все три года ее жизни, прошедшие после смерти брата, были сплошным служением его памяти. В эти годы я сильнее прежнего сблизился с ней, в особенности после того, как мне удалось вывести ее из довольно затруднительного положения, вызванного ее несколько запутанными личными и семейными отношениями. "Получив ваше письмо,-- писала она мне в апреле 1879 года,-- я хотела сейчас ехать к вам, чтобы лично поблагодарить вас за спокойствие, которое вы мне устроили, но боязнь отвлечь вас от занятий удержала меня от демонстрации моей радости. Вы связали оказанную вами услугу с воспоминанием о моем брате... Да! В этом вы заменили мне его, и вы не поверите, каким вы стали дорогим для меня человеком". Она разбирала со мною бумаги и черновые наброски стихотворений брата. В двадцатых числах января 1882 года она заболела тяжелым плевритом и, пригласив меня к себе, просила быть ее душеприказчиком и позаботиться об устройстве в "Луке" училища в память брата. Слабое пожатие ее горячечной руки было последним для меня в ее жизни, которая угасла 20 февраля.

С грустным чувством приходится завершить мои отрывочные воспоминания повествованием о судьбе задуманного Анною Алексеевной увековечения памяти ее брата.

Согласно ее завещанию, на устройство и содержание этого училища должны были быть переданы мне деньги, вырученные книжным складом Стасюлевича от продажи изданных ею сочинений брата. Весною 1882 года я вступил в сношения с новгородским земством о передаче ему по дарственной записи усадьбы "Лука" со всею находящеюся в ней движимостью, с условием устроить в ней школу имени Некрасова, при обещании представителей земства сохранить в неприкосновенном виде его кабинет с письменным столом, креслом и превосходным портретом работы Ге. Земство приняло пожертвование с благодарностью и вскоре ассигновало на поддержание школы пятьсот рублей ежегодно, но затем начались разные затруднения и проволочки как относительно типа школы и ее назначения, так и относительно большего ее материального обеспечения. Для увеличения последнего я принял на себя ходатайство пред министром государственных имуществ М. Н. Островским об удовлетворении просьбы земства о ежегодной субсидии этой школе, если она будет сельскохозяйственного типа. Островскому, который в это время круто стал отрешаться от своих прежних взглядов и литературных симпатий, не было симпатично название школы, но после некоторых колебаний он согласился, и школе со дня ее открытия было назначено пособие в тысячу рублей ежегодно. Затем, вследствие новых заявлений земства о недостаточности средств, я вошел в 1884 году в сношение с А. А. Краевским и М. Е. Салтыковым о передаче новгородскому земству шести тысяч шестисот семидесяти трех рублей, собранных редакцией "Отечественных записок" на устройство школы в память Некрасова в месте его родины. Я был уверен, что эти деньги вместе с арендной платой с земли при "Луке", субсидиями от министерства государственных имуществ и от земства и с 4500 рублями, вырученными от продажи сочинений Некрасова, могут, наконец, обеспечить существование некрасовской школы. К сожалению, какой-то злой рок тяготел над открытием этой школы, которая в проекте переделывалась из сельскохозяйственной в ремесленную и наоборот и предназначалась к открытию то в "Луке", то в имении одного из местных помещиков, а в действительности не была открыта в течение девяти лет. Это побудило меня обратиться к председателю губернской земской управы с письмом следующего содержания: "Милостивый государь! Вследствие состоявшегося в 1882 году между мною, как душеприказчиком вдовы полковника Анны Алексеевны Буткевич, и представителями новгородского губернского и уездного земства соглашения, мною было передано земству для устройства школы в память Н. А. Некрасова завещанное госпожою Буткевич имение, состоящее из дома и 82 десятин земли при усадьбе "Лука", близ Чудова, и препровождены затем 11 173 рубля серебром. При возникшей по поводу устройства этой школы переписке между мною и господами председателями губернской и уездной земских управ я неоднократно высказывал, что, в качестве душеприказчика А. А. Буткевич, я не имею никаких возражений ни против типа или характера школы, ни против местности, в которой земству угодно будет ее открыть, озабочиваясь лишь скорейшим выполнением желаний завещательницы, хотевшей связать память о своем брате с посильною

пользой народному образованию в местности, где последний часто жила и создал многие из своих поэтических произведений. К сожалению, однако, школа имени Некрасова до настоящего времени не учреждена, а появляющиеся в повременных изданиях известия заставляют предполагать, что при настоящем положении вопроса нельзя даже и предвидеть с точностью времени ее открытия, несмотря на то, что помимо земли и дома, на этот предмет у земства имеется уже капитал, превышающий четырнадцать тысяч рублей серебром. Не считая себя вправе входить в обсуждение причин и условий такого неблагоприятного для осуществления воли госпожи Буткевич положения дела, я не могу, однако, оставлять обязанности, возложенной ею на меня, неисполненным и ограничиться одним лишь формальным исполнением ее воли путем передачи ее имущества и завещанных ею средств земству, тем более, что 6673 рубля испрошены мною у господ Салтыкова и Краевского именно для устройства задуманной госпожою Буткевич школы. Поэтому и ввиду предстоящего губернского земского собрания имею честь обратиться к вам с покорнейшею просьбой оказать зависящее с вашей стороны содействие - *к безотлагательному и действительному разрешению вопроса о некрасовской школе* -- или же, буде новгородское земство считает принятые на себя по дарственной записи 1883 года обязательства *невыполнимыми*,-- к возбуждению вопроса о возвращении мне всего, предоставленного для устройства школы, дабы я мог передать эти средства министерству народного просвещения с тою же целью".

Наконец, в 1892 году Некрасовская сельскохозяйственная школа была открыта при доме поэта в "Луке", причем из вещей Некрасова, вследствие плохого надзора, как удостоверил в "С.-Петербургских ведомостях" за 1902 год Жилкин, остался в доме лишь его портрет. По последующим известиям, если верить корреспонденции "С.-Петербургских ведомостей", в 1904 году школа находилась в таком неприглядном виде, что очередное уездное земское собрание постановило: признать школу в настоящем ее виде нежелательною и поручить управе разработать вопрос или о реорганизации ее, или о совершенном закрытии, передав портрет поэта в Музей императора Александра III и заменив его копией. В 1906 году-- школа закрыта вовсе, а усадьба Некрасова сдана в аренду подрядчику рабочей артели с ближайшей плитной ломки...

Комментарии

Впервые очерк напечатан в "Вестнике Европы", 1908, No 5, как 3-й раздел "Отрывков из воспоминаний". В составе цикла "Тургенев. - Достоевский. - Некрасов. - Апухтин. - Писемский. - Языков" помещается во все три издания Пятитомника. Также очерк включен в конюшную книгу "1821--1921. Некрасов. Достоевский. По личным воспоминаниям". Пг., 1921, в значительно дополненном виде. Это юбилейное издание автор сопроводил вступлением, в котором, в частности, писал: "На моем долгом жизненном пути судьба послала мне личное знакомство с Некрасовым и Достоевским, Львом Толстым и Майковым, Тургеневым и Гончаровым, Писемским, Соловьевым, Апухтиным, Кавелиным и др. Воспоминаниям о двух из них посвящается настоящая книжка, ввиду того, что в настоящем году исполнилось и исполняется 100 лет со дня рождения Некрасова и Достоевского". Как имеющий самостоятельное значение очерк вошел также в завершающий том Пятитомника. Печатаем по Собранию сочинений, т. 6.

... "поэзия и не ночевала" -- слова Тургенева в письме к Полонскому от 13(25) января 1868 г. Вообще для Тургенева в его отношении к поэту, "печальнику горя народного", характерна (и закономерна!) обусловленная разницей идейных и художественных задач эволюция, принявшая особенно резкие формы после раскола в "Современнике"; до этого Тургенев признавал, что многие стихи поэта "пушкински хороши", а иные даже "жгутся", будучи собранными "в один фокус". (Полное собрание сочинений и писем. Письма, тт. II, III. М. - Л., 1961, по указателю).

"Иди к униженным, иди к обиженным -- там нужен ты" -- из поэмы "Кому на Руси жить хорошо".

... "среди буйных дикарей" -- стихотворение "В неведомой глуши, в деревне полудикой..." (1846).

... Как тяжело проживание в петербургских углах, описанных им в одном из сборников. - Очерк "Петербургские углы" вошел в состав альманаха "Физиология Петербурга", ч. I--II, СПб, 1845, где, кроме Некрасова, редактора и автора, как в других его сборниках, участвовал еще ряд писателей: Белинский, Герцен, Тургенев, Достоевский, Григорович...

Против... Александра II. -- А. И. Герцен и Н. П. Огарев множество раз выступали на страницах зарубежного бесцензурного "Колокола" (газета выходила в 1857--1867 гг.) с разоблачением как реформы 1861 года, так и вообще непоследовательной внутренней и внешней политики царя. Напомним: Кони, в общем, принимал реформы 60-х годов положительно, отмечая в них главное, не акцентируя внимания на их ограниченности, половинчатости, хотя, впрочем, резко отрицательно относился к позднейшей политике контрреформ при том же Александре II и его сыне.

... в потрясающих стихах.-- "Про холопа примерного - Якова верного" (поэма "Кому на Руси жить хорошо").

... которую он называл... уменьшительным именем *Зины*. - Ф. А. Викторова (?--1915) - последняя жена поэта, ей он посвятил ряд своих произведений.

О судьбе *Загбало*в едко отзывались "Отечественные записки" (№ 10 за 1872 г.) заметкой публициста-демократа Н. А. Демерта и, получив от мирового ответ, через полгода снова вернулись к этой истории, окончательно разоблачив последнего: он наложил штраф на меню как на "бесцензурную литературу".

"муза мести и печали" и "ликует враг, молчит в недоуменьи вчерашний друг, качая головой..." -- из стихотворений "Рыцарь на час" (1860) и "Ликует враг" (1866).

... рисковал своей репутацией, чтобы спасти передовые органы общественной мысли от гибели.-- Кони не осуждает известного поступка Некрасова, но как всегда глубинно объясняет главное движущее начало, в данном случае - желание спасти журнал, свое детище.

... пьяные люди... добрые люди -- мысль Снегирева, персонажа романа "Братья Карамазовы" (1879--1880).

"Смолкли поэта уста благородные..." -- начальная строка из стихотворения "На смерть Некрасова" ("Отечественные записки", 1878, № 1), умершего в последние дни 1877 года.

... За каплю крови, общую с народом -- строки из стихотворения "Умру я скоро...", написанного за 10 лет до кончины.

К. Д. Кавелин в молодости посещал кружок Герцена--Грановского, дружил с Белинским, позднее был близок к кругу Чернышевского, что не помешало в пору монархических увлечений "сильной властью", "понимающей" народные интересы, оправдать расправу над ним; стал автором верноподданнической записки на имя царя: "О нигилизме и мерах против него необходимых" (1866). Вместе с тем - под влиянием Некрасова - проявлялся определенный неподдельный демократизм его воззрений.

... усадьба Некрасова...-- Ныне дом-музей Некрасова возле поселка Чудово.